

Annotation

«Фацелия» — лирико-философская поэма в прозе.

- [Михаил Пришвин](#)
 -
 - [Пустыня](#)
 - [Тяга](#)
 - [Росстань](#)
 - [Радость](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Михаил Пришвин
Фацелия

Поэма



ПУСТЫНЯ

В пустыне мысли могут быть только свои, вот почему и боятся пустыни, что боятся остаться наедине с самим собой.

Давным-давно это было, но быльем еще не поросло, и я не дам порастать, пока сам буду жив. В то далекое «чеховское» время мы, два агронома, люди между собой почти незнакомые, ехали в тележке в старейший Волоколамский уезд по делам травосеяния. По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. В солнечный день, среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле. Сколько же там, мне думалось, в этой медоносной синей траве, теперь гудит насекомых. Но ничего не было слышно из-за тарахтенья тележки по сухой дороге. Очарованный этой силой земли, я забыл о делах травосеяния и, только чтоб послушать гул жизни в цветах, попросил товарища остановить лошадь.

Сколько времени мы стояли, сколько я был там с синими птицами, не могу сказать. Полетав душой вместе с пчелами, я обратился к агроному, чтобы он тронул лошадь, и тут только заметил, что этот тучный человек с круглым заветренным простонародным лицом наблюдал меня и разглядывал с удивлением.

— Зачем мы останавливались? — спросил он.

— Да вот, — ответил я, — пчел мне захотелось послушать.

Агроном тронул лошадь. Теперь я в свою очередь взгляделся в него сбоку и что-то заметил. Еще раз глянул на него, еще и понял, что этот до крайности практический человек тоже о чем-то задумался, поняв через посредство, быть может, меня роскошную силу цветов этой фацелии.

Его молчание мне становилось неловким. Я спросил его о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, но он на вопрос мой не обратил ни малейшего внимания. Похоже было, что мое какое-то неделовое отношение к природе, быть может просто даже молодость моя, почти юность, вызвали в нем свое собственное время, когда каждый почти бывает поэтом.

Чтобы окончательно вернуть этого тучного красного человека с широким затылком к действительной жизни, я поставил ему по тому

времени очень серьезный практический вопрос.

— По-моему, — сказал я, — без поддержки кооперации наша пропаганда травосеяния — пустая болтовня.

— А была ли у вас, — спросил он, — когда-нибудь своя Фацелия?

— Как так? — изумился я.

— Ну да, — повторил он, — была ли она?

Я понял и ответил, как подобает мужчине, что, конечно, была, что как же иначе...

— И приходила? — продолжал он свой допрос.

— Да, приходила...

— Куда же делась-то?

Мне стало больно. Я ничего не сказал, но только слегка руками развел, в смысле: нет ее, исчезла. Потом, подумав, сказал о фацелии:

— Как будто ночевали синие птицы и оставили свои синие перья.

Он помолчал, глубоко взгляделся в меня и заключил по-своему:

— Ну, значит, больше она уже не придет.

И, оглядев синее поле фацелии, сказал:

— От синей птицы это лежат только синие перышки.

Мне показалось, будто он силился, силился и наконец завалил над моей могилой плиту; я еще ждал до сих пор, а тут как будто навсегда кончилось, и она никогда не придет. Сам же он вдруг зарыдал. Тогда для меня его широкий затылок, его плутоватые, залитые жиром глазки, его мясистый подбородок исчезли, и стало жаль человека, всего человека в его вспышках жизненной силы. Я хотел сказать ему что-то хорошее, взял вожжи в свои руки, подъехал к воде, намочил платок, освежил его. Вскоре он оправился, вытер глаза, взял вожжи опять в свои руки, и мы поехали по-прежнему.

Через некоторое время я решился опять высказать, как мне казалось тогда, вполне самостоятельную мысль о травосеянии, что без поддержки кооперации мы никогда не убедим крестьян ввести в севооборот клевер.

— А ночки-то были? — спросил он, не обращая никакого внимания на мои деловые слова.

— Конечно, были, — ответил я как настоящий мужчина.

Он опять задумался и — такой мучитель! — опять спросил:

— Что же, одна только ночка была?

Мне надоело, я чуть-чуть рассердился, овладел собой и на вопрос, одна или две, ответил словами Пушкина:

— «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи».

Тяга

Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания: сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом — она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. И так я ушел с этой «тяги» своей и больше не встречал ее никогда.

Такой сейчас чудесный вечер, птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск и ничего: по-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу. А после оказалось, раздумывал я: из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало все как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно, чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все.

Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы как я: попробуй-ка забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.

И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».

Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»

Аришин вопрос

Когда эта женщина ушла от меня, Ариша спросила:

— А кто у ней муж?

— Не знаю, — сказал я, — не спрашивал. И не все ли нам-то равно, кто у ней муж?

— Как же так «все равно», — сказала Ариша, — сколько сидели с ней, разговаривали, и не знаете, кто у ней муж, я бы спросила.

В следующий раз, когда она пришла ко мне, вспомнился Аришин вопрос, но я опять не спросил, кто у ней муж. Я потому не спросил, что она мне чем-то понравилась, и догадываюсь, именно тем, что глаза ее напомнили мне возлюбленную моей юности чудесную Фацелию. То пли другое, по она мне правилась именно тем же, чем некогда и Фацелия: она не возбуждала во мне помыслов о сближении, напротив, этот мой интерес к ней отталкивал всякое бытовое внимание. Никакого дела мне теперь не было до ее мужа, семьи, дома. Когда она собралась уходить, мне вздумалось, после трудной работы, подышать воздухом, быть может и проводить ее до дому. Мы вышли, было морозно. Черная река зябла, и струйки пара перебегали всюду, и от ледяных заберегов слышался шорох. Такая была страшная вода, бездна такая, что казалось, и самый несчастный, кто решился бы утонуть, взглянув в эту черную бездну, вернулся к себе домой радостный и прошептал, разводя самовар:

«Вздор-то какой — топиться! Там еще хуже нашего. Тут-то я хоть чаю попью».

— А у вас есть чувство природы? — спросил я свою новую Фацелию.

— А что это? — опросила она в свою очередь.

Она была образованная женщина и сотни раз читала и слышала о чувстве природы. Но вопрос ее был такой простой, искренний. Не оставалось никакого сомнения: она действительно не знала, что такое чувство природы.

«И как она могла знать, — подумалось мне, — если она-то, может быть, эта моя Фацелия, и есть сама „природа“».

Эта мысль поразила меня.

Еще раз захотелось мне с этим новым пониманием заглянуть в милые глаза и через них внутрь той самой моей «природы», желанной, и вечно девственной, и вечно рождающей.

Но было совсем темно, и взлет моего большого чувства попал в темноту и вернулся назад. Какая-то вторая моя натура вновь поставила этот Аришин вопрос.

В это время мы проходили по большому чугунному мосту, и, как только я открыл рот, чтобы задать своей чудесной Фацелии Аришин вопрос, сзади себя я услышал чугунные шаги. Я не хотел обернуться и посмотреть, какой великан шел по чугунному мосту. Я знал, кто он был: он был командор, карающая сила за бесплодность мечты моей юности, поэтической мечты, вновь подменяющей мне подлинную любовь

человеческую.

И когда я поравнялся с ним, он только тронул меня, и я полетел через барьер в черную бездну.

Я очнулся в постели и подумал: «Не так-то уж глуп, как я думал, этот бытовой Аришин вопрос: если бы я в юности своей не подменил любовь свою мечтой, я не потерял бы свою Фацелию и сейчас через много лет не приснилась бы черная бездна».

Росстань

Стоит столб, и от него идут три дороги; по одной, по другой, по третьей идти — везде беда разная, но погибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся, а оттуда назад, — для меня погибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу и верной единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у росстани свои бедствия.

Капля и камень

Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки — началась капель. «Я! я! я!» — звенит каждая капля, умирая; жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.

Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень, большой и крепкий, ему, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновение, и это мгновение — боль бессилия. И все же: «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.

Граммфон

До того тяжела была утрата друга, что о внутреннем моем страданье стали замечать и посторонние. Жена моего хозяина это заметила и потихоньку спросила меня, чем это я так расстроен. Я встретил первого человека, проявившего живое участие, и все ей рассказал о Фацелии.

— Ну, я вас сейчас вылечу, — сказала хозяйка и велела мне отнести в сад ее граммфон. Там было много цветущей сирени. Еще там была посеяна фацелия, и ярко-синяя цветущая поляна вся гудела пчелами. Добрая женщина принесла пластинку, завела, и в граммфон знаменитый в то время певец Собинов запел арию Ленского. Хозяйка восхищенно смотрела на меня, готовая помочь мне всем, чем могла. Каждое слово певца

процветало любовью, пропитывалось медом фацелии, веяло ароматом сирени.

С тех пор прошло множество лет. И когда мне случается слышать где-нибудь арию Ленского, то все непременно возвращается: пчелы, синяя фацелия, сирень и моя добрая хозяйка. Тогда я не понял, но теперь знаю, что она действительно вылечила меня от безысходной тоски, и когда все вокруг меня начинают с презрением говорить о мещанстве граммофона — я молчу.

Мышь

Мышь в половодье плыла долго по воде в поисках земли. Измученная, наконец-то увидела торчащий из-под воды куст и забралась на его вершину. До сих пор мышь эта жила, как все мыши, смотрела на них, все делала, как они, и жила. А вот теперь сама подумай, как жить. И на вечерней заре солнечный луч красный так странно осветил лобик мышиный, как лоб человеческий, и эти обыкновенные мышиные глазки-бусинки черные вспыхнули красным огнем, и в них вспыхнул смысл всеми покинутой мыши, той особенной, которая единственный раз пришла в мир, и если не найдет средства спасенья, то навсегда уйдет; и бесчисленные поколения новых мышей никогда больше не породят точно такую же мышь.

Со мной в юности было как с этим мышонком: не вода, а любовь, тоже стихия, охватила меня. Я потерял тогда свою Фацелию, но в беде своей что-то понял и, когда спала любовная стихия, пришел к людям, как к спасительному берегу, со своим словом о любви.

Поющие двери

Глядя на ульи с пчелами, летающими туда и сюда в солнечном свете: туда легкими, сюда обремененными цветочной пылью, — легко представляешь себе мир людей и вещей согласованных, вещей, обжитых до того, что они, как двери в «Старосветских помещиках», поют.

На пасеке я всегда вспоминаю старосветских помещиков, как они были для Гоголя: в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле.

Girculus vitiosus

Когда-то я дивился, как не стыдно жить лысым, откуда берут они охоту и на что рассчитывают, расправляя нижние последние длинные волосы по всей лысине, примазывая их чем-то даже довольно прочно. Лысые, пузатые люди во фраках, старые девы с желтыми щеками, в бриллиантах и бархате. Как не стыдно всем им показываться при белом свете и рядиться в богатые одежды? Прошло два, три десятка лет, и мне пришлось зачесывать волосы свои наперед, и кто-то открыл однажды их и сказал: зачем вы закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина. И вот я мало-помалу совершенно примирился с лысиной. Я со всеми примирился недостатками... Примирился даже с утратой своей юношеской Фацелии. Лысые, пузатые, желтые, больные не беспокоят моего воображения, и только не могу еще перешагнуть через бездарных. Но думаю, что и талант тоже, как лысина: может талант пройти, писать не захочется, и с этим тоже помирись. Ведь не ты же сам создал свой талант, у тебя это выросло, как густые волосы, и он тоже, если так оставить, вылезет, как волосы: писатель «испишется». Не в таланте дело, а в том, кто управляет талантом. Вот уж этого утратить нельзя, эта утрата незаменима: это уж не лысина, не брюхо, это я сам. И пока «я сам» существует, нечего плакать об утраченном: ведь говорят: «снявши голову, по волосам не плачут», значит, можно сказать и так: «была бы голова, а волосы вырастут».

Дочь Фацелии

Я потерял ее вовсе из виду, и с тех пор много лет прошло. Я до того утратил ее черты, что не мог бы по лицу узнать ее. И только вот одни глаза, похожие на две северные звездочки, это я бы, конечно, узнал.

И случилось однажды, я зашел в комиссионный магазин купить себе одну вещь. Мне удалось эту вещь найти и купить. С чеком в руке я стал в очередь. Рядом же была очередь вторая, из тех, у кого были только крупные деньги: в кассе не было разменных денег. Одна молодая женщина из той очереди попросила у меня разменять пять рублей: ей нужно было всего только лишь два рубля. У меня было мелких только два рубля, и я охотно предложил взять от меня эти два рубля...

Вероятно, она не поняла меня, что я желаю просто отдать ей, подарить деньги. А может быть, она была такая милая, что победила в себе чувство

ложного стыда и хотела стать выше условных мелочей. К сожалению, протягивая деньги, я взглянул на нее и вдруг узнал те самые глаза, те самые две северные звездочки, как у Фацелии. В одно мгновение это я успел через глаза заглянуть внутрь ее души, и мне успело мелькнуть, что, может быть, это дочь «ее»...

Но денег от меня после такого заглядывания взять оказалось невозможным. А может быть, она только тут успела сообразить, что деньги я хочу ей, незнакомой, подарить.

Подумаешь, деньги-то какие, всего два рубля! Я протянул руку с деньгами.

— Нет! — сказала она. — Так взять я от вас не могу.

А я-то в ту минуту, узнавая те глаза, готов был отдать ей все, что у меня было, я готов был по одному ее слову побежать куда-то и принести ей еще и еще...

Умоляющим взглядом, как нищий из нищих, я поглядел и попросил:

— Возьмите же...

— Нет! — повторила она.

И когда у меня сделался вид совершенно несчастного, брошенного, измученного бездомьем человека, она что-то вдруг поняла, улыбнулась тою самой прежней своей улыбкой Фацелии и сказала:

— Мы сделаем так: вы у меня возьмете пять рублей и мне дадите два. Хотите?

С восторгом я взял у нее пять рублей и видел, что восторг мой она хорошо поняла и оценила.

Радость

Горе, скоплясь в одной душе больше и больше, может в какой-то прекрасный день вспыхнуть, как сено, и все сгореть огнем необычайной радости.

Победа

Друг мой, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам поражен: вся природа побежденному человеку — поле, где была проиграна битва. Но если победа, если даже дикие болота одни были свидетелем твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе.

Последняя весна

Быть может, эта весна моя последняя. Да, конечно, каждый молодой и старый, встречая весну, должен думать, что, может быть, это последняя весна и больше он к ней никогда не вернется. От этой мысли радость весны усиливается в сто тысяч раз, и каждая мелочь, зяблик какой-нибудь, даже слово, откуда-то прилетевшее, являются со своими собственными лицами, со своим особенным заявлением на право существования и участия и для них тоже в последней весне.

Близкая разлука

Осенью, конечно, все шепчет кругом о близкой разлуке, в радостный солнечный день к этому шепоту присоединяется задорное: хоть один, да мой! И я думаю, что, может быть, и вся наша жизнь проходит, как день, и вся мудрость жизненная сводится к тому же самому: одна только жизнь, единственная, как осенью единственный солнечный день, один день, а мой!

Старый скворец

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню прилетает в хорошее росистое утро старый скворец и поет.

Вот странно, казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

Удивляюсь скворцу, и под песню его косноязычную и смешную сам в какой-то неясной надежде, ни для чего иногда тоже кое-что сочиню.

Птичик

Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку.

У старого пня

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.

Старые умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от теплого пня вокруг все согревается, все растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке на горячем месте расположились десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы... Вокруг высокие папоротники собрались, как гости, редко ворвется к ним самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостинной у старого пня один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями.

Неведомому другу

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видал, и ты сам видишь впервые.

Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички — подкрапивники, и особенно хороша флейта иволги. Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь плывет над водой: это же не просто лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку, — завтра так точно сверкать они уже не будут, и день-то будет не тот, — и эти сороки выйдут где-нибудь в другом месте. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили, на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

Реки цветов

Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки».

Живые ночи

Дня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло и дожди обратили нашу природу в парник, воздух насыщен ароматом молодых смолистых листов тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые живые ночи. Хорошо с высоты достижений такого дня оглянуться назад и ненастные дни ввести, как необходимые, для создания этих чудесных живых ночей.

Глоток молока

Чашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада, — сказал я, — надо поесть». Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада», — повторил я и подвинул блюдце поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.

Хозяйка

Какая отличная хозяйка и мать эта Анна Даниловна: две комнаты в полном порядке, несмотря на то, что четверо маленьких и сама еще служит уборщицей в билетной кассе железной дороги. Вспоминаешь старую деревню, погруженную в навоз, неухоженных детей, пьяниц, расположившихся на бабьем труде... как будто на небо поднялся! Но когда я об этом сказал Анне Даниловне, она очень запечалилась и сказала мне, что очень тоскует по своей родине, все бы бросила и сейчас бы туда поехала.

— А вас, Василий Захарович, — спросил я мужа ее, — тоже тянет в деревню, на родину?

— Нет, — ответил он, — меня никуда не тянет.

Оказалось, он из Самарского края и единственный из своей семьи спасся в 1920 году от голода. Мальчиком он поступил в деревню в батраки к старику одному и ушел от старика без гроша. Только вот взял себе в деревне Анну Даниловну и поступил рабочим на судовой верфь.

— Почему же вас на родину не тянет? — спросил я его.

Он улыбнулся, чуть-чуть перемигнулся с женой и стеснительно сказал:

— Вот моя родина.

Ромашка

Радость какая! На лугу в лесу встретилась ромашка, самая обыкновенная «любит — не любит». При этой радостной встрече я

вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает: «любит — не любит?» «Не заметил, проходит, не видя: не любит, любит только себя. Или заметил... О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать».

Любовь

Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...

Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей пролепетал свое люблю.

Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:

— А что это значит «люблю»?

— Это значит, — сказал он, — что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь как осел...

И он еще много насказал ей такого, что люди выносят из-за любви.

Фацелия напрасно ждала небывалого.

— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она, — да ведь это же у всех, так все делают...

— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.

1940

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)